



I

Знаете ли вы, что такое быть бедным? Бедным не той бедностью, на которую некоторые жалуются, имея пять или шесть тысяч в год и уверяя, что едва-едва сводят концы с концами, но по-настоящему бедным — ужасно, отвратительно бедным? Бедность, которая так гнусна, унижительна и тягостна; которая заставляет вас носить одно и то же платье до полной его ветхости; которая отказывает вам в чистом белье из-за разорительных расходов на прачку; которая лишает вас самоуважения и побуждает в замешательстве скрываться на задних улицах, вместо того чтобы свободно и независимо гулять между людьми, — вот такую бедность я имею в виду. Это гнетущее проклятие, которое подавляет благородные стремления. Это нравственный рак, который гложет сердце благонамеренного человеческого существа и делает его завистливым, злым и даже способным к употреблению динамита. Когда он видит разжиревшую праздную женщину из общества, проезжающую мимо в роскошной коляске, лениво развалиясь на подушках, с лицом, раскрасневшимся от пресыщения; когда он замечает безмозглого чувственного модника, курящего и зевающего от безделья в парке, как если б весь свет с миллионами честных тружеников был создан исключительно для развлечения так называемых «высших» классов, — тогда его кровь превращается в желчь и страдающая душа возмущается и вопиет:

— За что такая несправедливость, о Господи? Почему недостойный ротозей имеет полные карманы золота, доставшиеся случайно или по наследству, тогда как я, работая без усталы с утра до ночи, едва в состоянии заплатить за обед?

Почему, в самом деле? Отчего бы сорной траве не цвести, как зеленому лавру? Я часто об этом думал. Тем не менее теперь мне кажется, что я могу разрешить задачу на своем личном опыте. Но... на каком опыте! Кто поверит этому? Кто поверит, что нечто такое странное и страшное выпало на долю смертного? Никто. Между тем это правда — более правдивая, чем многое, называемое правдой. Впрочем, я знаю, что многие люди живут в таких же условиях, под точно таким же давлением, сознавая, может быть, временами, что они опутаны пороком, но они слишком слабы волей, чтобы разорвать сети, в которые добровольно попали. Я даже сомневаюсь: примут ли они во внимание данный мне урок? В той же суровой школе, тем же грозным учителем? Познают ли они тот обширный, индивидуальный, деятельный разум, который не переставая, хотя и безгласно, работает? Познают ли они Вечного действительного Бога, как я принужден был это сделать всеми фибрами моего умозрения? Если так, то темные задачи станут для них ясными и то, что кажется несправедливостью на свете, окажется справедливым!

Но я не пишу с какой-либо надеждой убедить или просветить моих собратьев. Я слишком хорошо знаю их упрямство; я могу судить по своему собственному. Было время, когда мою гордую веру в самого себя не могла поколебать какая-нибудь человеческая единица на земном шаре. И я вижу, что и другие настроены подобным образом. Я просто намерен рассказать различные случаи из моей жизни — по порядку, как они происходили, — предоставляя более самонадеянным умам задавать и разрешать загадки человеческого существования.

В одну жестокую зиму, памятную ее полярной суровостью, когда громадная холодная волна распространила свою

леденящую силу не только на счастливые Британские острова, но и на всю Европу, я, Джеффри Темпест, был один в Лондоне, почти умирая с голоду. Теперь голодающий человек редко возбуждает сочувствие, так как немногие поверят ему. Состоятельные люди, только что поевшие до пресыщения, — самые недоверчивые; многие из них даже улыбаются, когда им рассказывают про голодных бедняков, точно это шутка, придуманная для послеобеденного развлечения; или с раздражающим невниманием, настолько характерным для модной публики, что, задав вопрос, они не ждут ответа, а получив его, не понимают, эти плотно пообедавшие господа, услышав о каком-нибудь несчастном, умирающем от голода, рассеянно пробормочут: «Как это ужасно!» — и сейчас же возвратятся к обсуждению последней новости, чтоб убить время, прежде чем оно убьет их своею скукой. «Быть голодным» звучит грубо и вульгарно для высшего общества, которое всегда ест больше, чем следует.

В тот период, о котором идет речь, я, с некоторых пор сделавшийся одним из людей, вызывающих наибольшую зависть, узнал жестокое значение слова «голод» слишком хорошо: грызущая боль, болезненная слабость, мертвенное оцепенение, ненасытность животного, молящего о пище, — все эти ощущения достаточно страшны для тех, кто, по несчастию, день ото дня подготовлялся к ним, но, может быть, они много более для того, кто получил нежное воспитание и считал себя «джентльменом». И я чувствовал, что не заслуживаю страданий нищеты, в которой очутился. Я много работал. После смерти моего отца, когда я узнал, что все его воображаемое состояние принадлежало кредиторам и что от нашего имения не осталось ничего, кроме драгоценной миниатюры моей матери, потерявшей жизнь, произведя меня на свет, — с того времени, говорю я, мне пришлось трудиться с раннего утра до поздней ночи. Мое университетское образование я применил к литературе, к которой, как мне казалось, имел призвание. Я искал себе занятий почти в каждой

лондонской газете. Во многих редакциях мне отказывали, в некоторых брали на испытание, но нигде не обещали постоянной работы.

Каждый, кто ищет заработка одной лишь головой и пером, в начале этой карьеры ощущает себя своего рода социальным изгоем. Он никому не нужен, все его презирают. Его стремления осмеяны, его рукописи возвращаются ему непрочитанными, и о нем меньше заботятся, чем об осужденном убийце в тюрьме. Убийца по крайней мере одет и накормлен, почтенный священник навещает его, а тюремщик иногда не прочь даже сыграть с ним в карты. Но человек, одаренный оригинальными мыслями и способный выражать их, считается худшим из преступников, и его, если б могли, затолкали бы до смерти.

Я переносил в угрюмом молчании и пинки, и удары и продолжал жить — не из любви к жизни, но единственно потому, что презирал трусость самоуничтожения. Я был еще слишком молод, чтоб легко расстаться с надеждой. У меня была смутная идея, что и мой черед настанет, что вечно вращающееся колесо фортуны в один прекрасный день поднимет меня, как теперь понижает, оставляя мне лишь возможность для продолжения существования, — это было прозябание, и больше ничего. Наконец я получил работу в одном хорошо известном литературном издании. Тридцать романов в неделю присылались мне для критики. Я приобрел привычку рассеянно пробежать восемь или десять из них и писал столбец громовых ругательств, интересуясь только этими, случайно выбранными, остальные же оставались без внимания. Такой образ действий оказался удачным, и я поступал так некоторое время, чтобы понравиться моему редактору, который платил мне щедрый гонорар в пятнадцать шиллингов в неделю.

Но однажды, вняв голосу совести, я изменил тактику и горячо похвалил работу, которая была и оригинальна, и прекрасна. Автор ее оказался врагом журнала, где я работал.

Результатом моей хвалебной рецензии произведения ненавистного субъекта было то, что личная злоба издателя взяла верх над добропорядочностью и я лишился заработка. После этого мне пришлось влачить бедственное существование наемного писателя, живя обещаниями, которые никогда не выполняются, пока, как я сказал, в начале января, в разгар лютой зимы, я не очутился буквально без гроша, лицом к лицу с голодной смертью, задолжав месячную плату за свою убогую квартирку на одной из улочек недалеко от Британского музея.

Целый день я переходил из одной газетной редакции в другую, ища работу и не находя ее. Все места были заняты. Так же безуспешно пробовал я представить свою рукопись, но «лекторы» в редакциях находили ее особенно бездарной. Большинство из этих «лекторов», как я узнал, были сами романисты, которые в свободное время прочитывали чужие произведения и произносили свой приговор. Я никогда не мог найти справедливости в такой системе. Мне кажется, что это — просто-напросто покровительство посредственности и подавление оригинальности. Романист-«лектор», который добивается места в литературе для самого себя, естественно, скорее одобрит заурядную работу, чем ту, которая могла бы оказаться лучше его собственной. Хороша или дурна эта система, но для меня и для моего литературного детища она была вредна.

Последний редактор, к которому я обратился, по-видимому, был добрый человек: он смотрел на мое потертое платье и изнуренное лицо с некоторым состраданием.

— Мне очень жаль, — сказал он, — но мои «лекторы» единогласно отвергли вашу работу. Мне кажется, вы слишком серьезны и резко выступаете против общества. Это непрактично. Никогда не следует осуждать публику: она покупает книги. Вот если можете, напишите остроумную любовную историйку, слегка рискованную: подобного рода произведения имеют наибольший успех в наше время.

— Извините меня, — возразил я нерешительно. — Но уверены ли вы, что судите правильно о вкусах публики?

— Конечно, я уверен, — ответил он. — Это моя обязанность — знать вкус публики так же основательно, как свой собственный карман. Поймите меня, я не советую, чтобы вы писали книгу положительно непристойного содержания, — это можно смело оставить для «новой женщины», — он засмеялся. — Уверяю вас, что классические произведения не имеют спроса. Начать с того, что критики не любят их. Все, что доступно им и публике, — это отрывок сенсационного реализма, рассказанный в элегантной английской газете. В «Литературной» или в газете Эддисона это будет ошибкой.

— Я думаю, что и я сам — тоже ошибка, — сказал я с натянутой улыбкой. — Во всяком случае, если то, что вы говорите, правда, я должен бросить перо и испытать другое занятие. Я отстал от жизни, считая литературу выше всех профессий, и скорее предпочел бы не связывать ее с теми, кто добровольно ее унижает.

Он бросил на меня искоса быстрый взгляд — полунедоверчивый, полупрезрительный.

— Хорошо, хорошо! — наконец заметил он. — Вы немного экстравагантны. Это пройдет. Не хотите ли пойти со мной в клуб и вместе пообедать?

Я отказался от этого приглашения. Я сознавал свое несчастное положение, и гордость — ложная гордость, если хотите, — поднялась во мне. Я поспешил проститься и поплелся домой со своей отвергнутой рукописью. Придя домой, я встретил на лестнице мою квартирную хозяйку, которая спросила, «не буду ли я так добр рассчитаться с ней завтра». Она говорила довольно вежливо, бедняжка, и не без некоторой нерешительности. Ее очевидное сострадание укололо мое самолюбие так же, как предложенный редактором обед ранил мою гордость, и с совершенно уверенным видом я сейчас же обещал ей уплатить деньги в срок, ею самую

назначенный, хотя у меня не было ни малейшего представления, где и как я достану требуемую сумму.

Войдя в свою комнату, я швырнул бесполезную рукопись на пол, упал на стул... и выругался. От этого мне стало легче, что неудивительно, так как хоть я и ослаб временно от недостатка пищи, но не настолько, чтоб проливать слезы, и крепкое ругательство было для меня таким же лекарством, каким, я думаю, бывают слезы для взволнованной женщины. Как я не мог плакать, так же я не был способен и обратиться к Богу в моем отчаянии. Говоря откровенно, я тогда не верил в Бога. Я был самонадеянным смертным, презирающим изношенные временем суеверия.

Конечно, я был воспитан в христианской вере, но эта вера сделалась для меня более чем бесполезной. Умственно я находился в хаосе, а мораль составляла препятствие моим идеям и стремлениям. Мое положение было безнадежно, и я сам был безнадежен.

А между тем я чувствовал, что сделал все, что мог. Я был зажат в угол моими собратьями, которые оспаривали мое место в жизни. Но я боролся с этим: я работал честно и терпеливо — и все напрасно.

Я слышал о мошенниках, которые получали большие деньги, о плутах, которые наживали огромные состояния. Их благоденствие доказывает, что честность в конце концов не есть лучшее средство. Что же было делать? Как начать иезуитскую деятельность, чтобы, сделав зло, получить добро? Так я думал — если эти безумные фантазии заслуживали названия дум. Ночь была особенно холодной. Мои руки онемели, и я старался согреть их у масляной лампы, которою моя квартирная хозяйка по доброте своей позволяла мне пользоваться несмотря на просроченный платеж.

Сделав это, я заметил три письма на столе: одно было в длинном синем конверте, заключавшем или вызов в суд, или возвращенную рукопись, другое — с маркой из Мельбурна, а третье представляло собой толстый квадратный

пакет с позолоченной короной. Я смотрел на все три равнодушно и, выбрав то, что было из Австралии, повертел его в руках одну секунду, прежде чем распечатать.

Я знал, от кого оно, и не ждал приятных известий. Несколько месяцев назад я написал подробный рассказ о моих увеличивающихся долгах и затруднениях одному старому школьному товарищу, который, найдя Англию слишком тесной для своего честолюбия, уехал в более широкий Новый Свет для разработки золотых приисков. Как мне было известно, он преуспел в своем предприятии и достиг солидного независимого положения. Поэтому я рискнул обратиться к нему с просьбой одолжить мне пятьдесят фунтов стерлингов. В конверте, без сомнения, был его ответ, и я поколебался, прежде чем его вскрыть.

— Конечно, будет отказ, — сказал я вслух.

Как ни бывает добр приятель в иных обстоятельствах, при просьбе одолжить денег он тут же становится черствым. Он выражает сожаление, винит плохо идущие дела и в целом тяжелые времена и обнадеживает, говоря, что скоро все переменится. Мне это было хорошо известно. В конце концов, почему я должен думать, что он не такой, как все? Я не имею на него иных прав, кроме сентиментальных воспоминаний о днях, совместно проведенных в Оксфорде.

Против воли у меня вырвался вздох, и на секунду мои глаза заволокло туманом. Я снова увидел серые башни мирной Магдалины, чудесные зеленые деревья, покрывавшие тенью дорожки внутри и кругом старого дорогого университетского города, где мы — я и человек, чье письмо я сейчас держал в руке, — вместе бродили, счастливые юноши, воображая себя молодыми гениями, родившимися, чтобы преобразовать мир. Мы оба любили классиков — мы были полны Гомером и мыслями и принципами всех бессмертных греков и римлян. И я верю, что в те далекие мечтательные дни мы думали, что в нас было то вещество, из которого создаются герои. Но вступление на общественную арену скоро

разрушило наши высокие фантазии; мы оказались обыкновенными рабочими единицами, не более; проза ежедневной жизни отстранила Гомера на задний план, и мы вскоре открыли, что общество более интересовалось последним скандалом, чем трагедиями Софокла или мудростью Платона. Без сомнения, было крайне глупо мечтать, что мы могли преобразовать свет, тем не менее самый закоренелый циник вряд ли станет отрицать, что отраднo оглянуться назад, на дни юности, когда, быть может, только один раз в жизни он имел благородные стремления. Лампа горела скверно, и мне пришлось заправить ее, прежде чем приступить к чтению письма моего друга.

В соседней комнате кто-то играл на скрипке, и играл хорошо. Нежные звуки лились из-под смычка, и я слушал, безотчетно радуясь. Ослабев от голода, я впал в состояние, близкое к оцепенению, и проникающая сквозь стену мелодия, вызывая во мне сладостные чувства, укротила на мгновение ненасытное животное, требующее пищи.

— Играй, играй! — пробормотал я, обращаясь к невидимому музыканту. — Ты упражняешься на своей скрипке, без сомнения, для заработка, поддерживающего твое существование. Возможно, ты какой-нибудь бедняга в дешевом оркестре или, может, даже уличный музыкант, вынужденный жить по соседству с «джентльменом», умирающим от голода; у тебя не может быть надежды когда-нибудь войти в моду и играть при дворе; если же ты надеешься на это, то это безумие! Играй, дружище, играй! Звуки, извлекаемые тобой, очень приятны и заставляют думать, что ты счастлив. Так ли это или и у тебя, как у меня, все пошло прахом?

Музыка стихала и становилась жалобнее; ей теперь аккомпанировал шум града, бьющего по оконным стеклам. Ветер со свистом врывался в дверь и завывал в камине — ветер, холодный, как дыхание смерти, и пронизывающий, как игла. Я дрожал и, нагнувшись к коптящей лампе, приготовился читать.

Едва я разорвал конверт, как оттуда выпал на стол чек на пятьдесят фунтов, которые я мог получить в хорошо известном лондонском банке. Мое сердце дрогнуло от облегчения и благодарности.

— Я был несправедлив к тебе, старый товарищ! — воскликнул я. — У тебя есть сердце!

И, глубоко тронутый великодушием друга, я внимательно прочел его письмо. Оно было не очень длинно и, очевидно, написано второпях.

Дорогой Джефф!

Мне больно слышать, что ты находишься в затруднительном положении; это показывает, что глупые головы все еще процветают в Лондоне, если человек с твоими талантами не может занять принадлежащего ему места на литературном поприще. Я думаю, что тут весь вопрос в интригах и только деньги могут их остановить. Здесь пятьдесят фунтов, которые ты просил, — не спеши возвращать их. Я решил тебе помочь, направив к тебе своего друга — настоящего друга, заметить! Он передаст тебе рекомендательное письмо от меня, и, между нами, старина, будет лучше всего, если ты полностью доверишь ему свои литературные дела. Он знает всех и знаком со всеми редакторскими ухищрениями и газетными писателями. Кроме того, он большой филантроп и имеет особенную склонность к общению с духовенством.

Станный вкус, ты скажешь, но он мне совершенно откровенно объяснил причину такого предпочтения. Он так чудовищно богат, что буквально не знает, куда девать деньги, а достойные джентльмены церкви всегда охотно указывают ему способы их потратить. Он всегда рад узнать о таких кварталах, где его деньги и влияние (он очень влиятелен) могут быть полезны для других. Он помог мне выпутаться из очень серьезного затруднения, и я у него в большом долгу. Я ему все рассказал о тебе и о твоих талантах, и он обещал помочь. Он может сделать все, что захочет, вполне

естественно, так как на свете и нравственность, и цивилизация, и все остальное подчиняются могуществу денег, а его средства, похоже, неисчерпаемы. Воспользуйся им — он сам этого желает — и напиши мне, что и как. Не беспокойся о пятидесяти фунтах, пока не почувствуешь, что все неприятности остались позади.

*Всегда твой,
Баффлз*

Я засмеялся, прочитав нелепую подпись, хотя мои глаза были затуманены чем-то вроде слез. Баффлз было прозвище, данное моему другу некоторыми из наших университетских товарищей, и ни он, ни я не знали, как оно возникло. Но никто, кроме профессоров, не называл его настоящим именем, которое было Джон Кэррингтон; он был просто Баффлз, и Баффлзом он остался даже теперь для своих задушевных друзей. Я сложил и спрятал его письмо вместе с чеком и, размышляя о том, что за человек мог быть этот «филантроп», который не знает, куда девать деньги, принял-ся за два других конверта. Я почувствовал облегчение, зная, что теперь, что бы ни случилось, смогу завтра оплатить счет квартирной хозяйке, как обещал. Кроме того, я мог заказать ужин и зажечь огонь, чтобы придать более веселый вид моей холодной и неудобной комнате.

Но прежде чем воспользоваться этими благами жизни, я вскрыл длинный синий конверт, который выглядел как угроза судебного преследования, и, развернув бумагу, смотрел на нее в изумлении. Что это значит? Буквы прыгали перед моими глазами; в недоумении и замешательстве я перечитывал текст снова и снова, ничего не понимая. Но вскоре на меня снизошло озарение, переполошив мои чувства, как электрический удар... Нет! Нет! Фортуна не может быть так безумна! Так странно капризна! Это какая-то бессмысленная мистификация... А между тем... если это шутка, то шутка изумительная! Имеющая также вес закона!